

ПЕЧАТАЕТСЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Л. АННИНСКИЙ

# ПРАЗДНЕСТВО И МУКА

(ИЗ КНИГИ О МИХАИЛЕ ЛУКОНИНЕ)

Чувствуете? Из-под Смелякова неожиданно выплыл Кедрин, причем очень определенный: Кедрин «Беседы». Тяга к Корнилову или Смелякову вырастает у Луконина из глубокого, интуитивно угаданного психологического родства — это все варианты грубоватой, надежной простоты и прочности, кедринская же муза, нежно-ломкая и застенчивая, — совсем с другой планеты: видно, «Беседа», как раз тогда напечатанная, попала Луконину на глаза, и «Анка», случайно зацепившись, покатила по этому рельсу...

(Но неспроста же Андрей Платонов из всего вороха сталинградских стихов зорко высмотрел, выхватил именно эту «Анку» — задело?).

Что-то задевает в луконинских стихах: смутно, не проясненно. Что-то словно дразнит, царапает. В самой «постановке слов»:

Девушка плещет воду,  
Смывает пылинки сна.  
Цветет под ногами осень,  
Над головой весна...

«Пылинки»... Пыль, что-то сухое... так странно соединено это с мотивом сна, «влажного», волнистого, обволакивающего. Неожиданно стоит слово. «Цветет осень». Кач какой-то в слове, алогичность. Осень и весна — одновременно. Дыхание стиха чуть шире, чем надо по теме. Есть зазор — видны «пылинки».

Пока что их смывает потоком.

И общим же потоком, самым ходом вещей выносит двадцатилетнего Луконина на уровень первого профессионального признания. Летом в печати появляется коллективное письмо: поэты М. Луконин, Н. Отрада, И. Израилев..., отвечая на призыв ЦК ВЛКСМ, обязуются поехать в гости к пионерам Астрахани и читать им стихи.

Писательская бригада — пусть в масштабах пионерлагеря — это уже профессиональный статус.

В газете «Молодой ленинец» — статья главного редактора В. Коротеева о только что вышедшем сборнике «Содружество». Хвалит за бодрость. За то, что даже осень у авторов — не хмурая и дождливая, а хорошая, веселая, урожайная.

Из Москвы приезжает «посол» Литературного института Александр Раскин, слушает стихи молодых сталинградцев.

Луконин в эту пору работает в «Молодом ленинце», вечерами учится в Педагогическом институте.

Телеграмму приносят в редакцию: «Вы приняты Литературный институт очное выезжайте Москву Раскин».

Много лет спустя Луконин так объяснит охватившее его смятение: а как же мой футбол?!

Футбол-то, конечно, был очень важен — как яркое, мускульно осязаемое выявление той здоровой жизненности, певцом которой Луконин чувствовал себя всю жизнь. Но он был важен Луконину-поэту. В сущности, решение было принято в первую же минуту, ибо ничто в душе Луконина не могло соперничать с поэзией. Он действительно был смущен в момент отъезда, но не из-за футбола, конечно. Зная его характер, его отношение к дружбе, нетрудно догадаться, что за смущение было прикрыто в тот момент футбольной ностальгией. Он ехал в Москву. А его товарищи, с которыми он начинал: и Голованов, печатавшийся с ним на одном газетном листе, и Израилев, работающий с ним там же, в редакции «Молодого ленинца», — они не ехали. Не говоря уже о Турочкине, расставание с которым было для Луконина настоящей мукой.

Турочкина Луконин год спустя, осенью 1939-го, сам и отвезет в Москву, в Литинститут. Собственно, не Турочкина уже, а Отраду. Станет студентом и Израилев. Собственно, не Израилев уже, а Окунев.

А пока Луконин едет один. В Москве его встречает Раскин. С вокзала — прямо в институт. Во дворе дома Герцена какие-то парни играют в волейбол. Кричат: нужен еще игрок в команду. Луконин ставит чемодан, сбрасывает пиджак и становится к сетке.

Студента, подающего мяч, он мгновенно узнает по портретам: Константин Симонов.

## «Москвичи не сдаются!»

В МОСКВЕ был другой «воздух»: литературные оценки, вывезенные из Сталинграда, здесь не работали. Там, в областной газете, стихи Луконина подхватывались критикой как пример бодрости и оптимизма. Здесь их заметил разве что журнал «Литературное обозрение», да как! Рецензия на «Разбег» (сборник произведений авторов Сталинградской области) начиналась со следующего назидания: каждая область, конечно, должна иметь свои овощи и фрукты, а вот создание на территории области своей художественной литературы — дело непростое. «Например, в стихотворении Михаила Луконина «Гуси, летите!» самое хорошее и поэтическое — это название стихотворения». Из остального текста автор рецензии никак не может понять, почему «радости нет конца». Рецензия подписана: Ф. Человеков.

Знал ли Луконин, что за этим псевдонимом скрывается Андрей Платонов? Мог знать: земля Литературного института полнилась слухами, Платонов жил на той же земле: во флигеле, рядом. Мог, впрочем, и не знать — просто не интересоваться этим так уж пристально. Похоже, что прошлые стихи все меньше трогали его, — он жил будущими. Ведь никогда ни одной строчки, написанной за все первые сталинградские годы, Луконин не вставил ни в одно собрание своих стихов! Это жесткое решение созрело, очевидно, в первые московские месяцы, между концом 1938 и концом 1939 года. Начинать — как с нуля. И ориентировался в поэтической ситуации заново.

Попробуем найти для Луконина эти ориентиры.

Корнилова нет. Ему были посланы еще из Сталинграда стихи, с ним мечталось встретиться по приезду — не успел.

И Смелякова не встретил.

В институте — три крупных мастера: Асеев, Луговской, Сельвинский. Их семинары — важнее всех прочих занятий. «Самолюбие и тщеславие, честолюбие и гордыня — все замыкалось в семинарах, — вспоминал много лет спустя Сергей Наровчатов. — Провалиться на любом экзамене было... терпимым делом, а получить разнос за слабые стихи у Асеева, Луговского, Сельвинского стоило многих бессонных ночей». Луконин навсегда сохранил безоговорочное уважение к этим учителям. Но не пошел за ними.

«Звонкий аллюр» Асеева, скачущий, легкий, вытягивающийся на лету стих, водопад самоцветных находок, парадоксов, каламбуров, падающий и взмывающий напор искусности, о котором Пастернак (как раз в ту пору) сказал: «выдумка, крылатое, закругленное выражение»... — вот первый вариант мастерства, с которым соприкоснулся молодой Луконин.

Рядом — Луговской. «Напряженное дыханье, гулкой крови перезвон посреди сухих и жарких окровавленных знамен». Трубный глас, пышущий искрами и огнем. Экспрессия, ярость, символика, спиральное, карусельное, опьяненное кружение слов; звезды, волны, ветры, бездны, ливни, тайны, синие молнии и громовые удары — экстатическое напряжение стиха. Этот романтический строй тоже взвешен как возможный.

Наконец, Сельвинский. «Бронзовый баритон», прихотливо и искусно вибрирующий между полюсами страстей, то ныряющий до первоначально-звериного, киплинговского «баса», то взмывающий до почти неслышного дисканта тончайших культурных ассоциаций, — это пряное сплетение стихий и форм тоже школа.